

Татьяна Кошемчук
Однажды

Однажды — это было через несколько лет после окончания филологического факультета и публикации в университетском сборнике «Анализ одного стихотворения» моей статьи о сонете Волошина — я получила письмо из Тбилиси от незнакомого мне человека. Он писал, что прочитал мою статью, — и далее много теплых слов, которые, впрочем, мне, при моей тогдашней самоуверенности, были вполне безразличны. Задело меня другое: автор письма говорил далее, что цитирует мой фрагмент в своей статье, из которой приводилась большая выписка. В те позднесоветские годы, когда дипломная работа о Волошине была еще не вполне обычным делом, меня занимали особенно антропософские идеи моего любимого поэта, и я старалась в своих статьях осторожно о них говорить. В приведенных рассуждениях неизвестного мне литературоведа как раз отрицалась их необходимость для понимания, так что моя мысль была воспринята в прямо противоположном смысле. В ответ я пишу примерно так: «Уважаемый Константин Сергеевич, спасибо...» — и с полной бесцеремонностью: «Но я прошу Вас более меня не цитировать, ибо Вы не понимаете...» За этим следовало разъяснение моей — им не понятой — основной идеи, а именно значимости антропософского подтекста волошинских строк. Отправив это послание неизвестному мне К. С. Герасимову, я и думать о нем забыла. И вдруг... через три недели я получаю из Тбилиси письмо, в котором этот человек предлагает мне стать его аспиранткой.

С этого началась наша дружба с Константином Сергеевичем: я, устыдившись, раз и навсегда им восхитилась и никогда не имела ни малейшего повода усомниться в нем, он был безупречен в каждом своем жесте. Я не случайно начала с нелестного для меня эпизода, ведь здесь — весь он, с его редкостным благородством, с

глубоким и истинным великодушием, с полным отсутствием всего мелкого — в нем все было крупно и ярко. И прежде всего было удивительно его умение понимать и ценить самых разных людей. С моей избирательностью и прямоотой, я позднее порой возмущалась его всепримятием, но... принимала в нем и это. Я внимательно созерцала его общение с другими людьми, которые порой казались мне совсем не стоящими того, но он был красив и совершенен и в этих линиях своей жизни, то есть искренен, без капли фальши, действительно расположен к человеку, с которым имел дело.

Впрочем, он умел в иные минуты и выбирать, не уклоняясь. Так, на сонетном симпозиуме во время обсуждения докладов я сказала о том, что в них нередко просто подсчитываются точные и неточные рифмы, нарушения сонетного канона или же соответствия, и это есть бесполезный *формализм* — без внимания к смыслу. Эти мои слова вызвали гневную вспышку одного маститого филолога, друга Константина Сергеевича (всех на симпозиуме он считал своими друзьями), который возмущенно заговорил о том, что *формалистов* уже однажды гнали и преследовали, что нельзя так безответственно и прочее. Я ответила нечто резкое о подмене. Встал Константин Сергеевич — в эту секунду паузы я успела с ужасом подумать: сейчас он что-то скажет, и конец... — он же очень спокойно сказал, что права — я, что слово стоит понимать именно так, как его произносит говорящий. Инцидент был исчерпан. Позднее, стремясь нас примирить, при выборе оппонентов к моей защите, он предложил именно этого человека, но я, к его огорчению, по недостаточности великодушия, отказалась. И мои объяснения, что кто-то может не любить кого-то без называемых причин, но с вескими основаниями, ему были не близки.

Да, он был человек общения, это едва ли не основная черта его личности. Писал как филолог он не много (и лишь о Волошине с любовью и истинной, глубоко личной вовлеченностью), так что не в филологических штудиях выговаривалась его жизнь — но в его общении, и здесь уместно именно это слово: в его любви к людям. Все, кто, как и я однажды, попадал в круг его симпатии, знают этот особенный тон его дружбы — с бережным вниманием, безупречной вежливостью и деятельной заботой. Так, Константин Сергеевич пишет мне о «культурной программе» Став-

ропольской конференции, уже на «ты» (я, конечно, осталась — на «Вы», из-за более чем тридцатилетней разницы в возрасте и по тональности того чувства, которое было у меня к нему): «...ездили мы в Теберду, а затем все участники конференции двинулись дальше — в Домбай, а мне пришлось из Теберды уехать обратно в Ставрополь, так как N. уезжала на следующий день и вместе со всеми вернуться было бы поздно. Пришлось мне проводить ее. Четыре часа езды — и она, как ты догадываешься, по дороге не молчала...» (письмо от 7.11.89) — он проводил одну из симпатичных ему участниц конференции (я заменяю буквой ее мягко названное имя), действительно много и громко говорящую, и если эта особенность, отмечаемая им с улыбкой, была бы невыносима для меня (что он понимал), то не мешала ему. Он, безупречный джентльмен (и ни в коей мере не женолюб), проводил бы точно так же, слегка вздохнув о пропущенном Домбае, и меня, и любую из спутниц по поездке.

Надо ли говорить, что, предложив мне защищаться в Тбилиси, он взял на себя все хлопоты, непонятные мне, связанные с этой непростой процедурой, и мне оставалось только присылать текст диссертации («Сонеты Максимилиана Волошина», тема была задана им) — по главам, которые я писала ему, как письма в нашей многотомной переписке, на его любимую тему как реплики в делящейся беседе. Его письма того времени полны самой чуткой мягкости. Он знал: кое-что в диссертации, для ВАКа, — времена еще советские вполне — надо смягчать, и ему неловко было от меня это требовать; с чем-то он и не мог согласиться, и тогда слова его были особенно теплыми. А ведь мои, в полемике, часто таковыми не были. При всей моей благодарной и восхищенной любви к этому человеку.

Его полюбили все: мой муж и мой сын, мои друзья — он знал всех, кто окружал меня тогда, и я знала многих его друзей, мы общались в Тбилиси с его тбилискими друзьями, в Москве — с московскими, я была дружна с его женой Нателой. Встречи были и на конференциях, но чаще мы прилетали из Москвы в Тбилиси, ведь поводов для приезда было много: сразу же началась история с оформлением моего соискательства, а потом и с защитой кандидатской диссертации. Кстати, это была последняя подобная процедура на филологическом факультете, на которой представлялась работа соискателя из России. Далее

подобное стало невозможным. И здесь уже намечен драматический финал этой прекрасной полосы моей и трагической, с разрывом всех связей, — его жизни. Он предчувствовал катастрофу, когда торопил меня с защитой, я и так выполняла все его пожелания быстро, не разделяя, впрочем, его тревоги о близком грозном будущем. Лейтмотив целого ряда писем, часто с приводимыми симптомами надвигающегося мрака: «Надо спешить. Сейчас главное — твоя диссертация, пока все не перевернулось и не погрузилось в межнациональный хаос» (письмо от 8.11.1989). Предчувствия сбылись в полной мере, оборвав нашу переписку и отменив возможность встреч.

Но мне хочется помедлить здесь, в тех баснословно счастливых, бесконечно далеких днях. Константин Сергеевич был по-волошински щедр в человеческих отношениях, в каких только странных порой комбинациях не пересекались мы в его тбилисской квартире — в тупике Джавахишвили. Гостеприимство этого дома было лично направлено на каждого человека, несравненный юмор украшал эти долгие сидения (и я могла бы привести здесь с десяток историй, рассказываемых им столь артистично, что и при повторе слушать их было действительным удовольствием). Царил же здесь некий возвышенный тон, даже при обильных порой возлияниях. Слова «высокое и прекрасное» были его словами, они шли к его шиллеровской душе необыкновенно, соответствуя ее строю. Да, все — высокое и прекрасное — что есть в людях, было ему близко и дорого. Он сам был высок и прекрасен. С оттенком некоторой старомодной неотмирности: однажды мы заговорили о восточном календаре и знаках зодиака, о моих «собачьих» чертах с оттенками Козерога, и тогда о себе он сказал: «Я, увы, Мышь. Лев и Мышь. Вроде Льва Мышкина, идиота». И далее добавил: «Но Собака умеет хранить чужие секреты, так что ты об этом никому не говори».

И если был он по-волошински щедр, то по-волошински же был он и одинок в пестроте людей. И любимые мои воспоминания о нем — это наши разговоры вдвоем в той же комнате, которая столь памятна всем знавшим его, с тем же журнальным столиком и теми же креслами возле стеллажей с книгами. Всегда наши беседы сопровождал медленный коньячный ритуал (я выпивала две рюмки, он — остальное). Он вставал иногда, когда читал стихи. Порой подходил к книжным полкам, чтобы показать

свои книжные сокровища. Или сделать подарок, если приходилось к слову. Так, к примеру, подарил он «Витязя в тигровой шкуре», когда я посетовала, что у нас в автобусе пропала сумка и вместе с ней эта книга, которую я собиралась читать семилетнему сыну. Он встал и достал из своего шкафа роскошное издание. В иную, глубокую минуту так же, достав из шкафа, он подарил мне иконку, которая по сей день всегда со мной. Он понимал меня в моем, я его — в важном для него: антропософия, религия — мое; искусство умирать, *Ars moriendi* стихов — его. Я волекла его в то, что мне было дорого, и он был прекрасным спутником.

Общим были — стихи. Мы и читали стихи, и писали их на бело, как, например, на большой пачке «Герцоговины», которую тогда курили... Но здесь я не могу не прервать себя и (хоть у меня совсем немного места в этой книге) не рассказать попутно: он особенным, изящно-галантным жестом всегда предлагал зажженную спичку, я как-то это отметила, и он рассказал следующее. Его «учила хорошим манерам» его московская тетушка. Прежде чем представить гостям своего племянника из провинции, она экзаменовала его: «Что ты будешь делать, Константин, — грозно спрашивала она среди прочего, — если дама возьмет в руки сигарету?» Он отвечал: «Я поднесу ей зажженную спичку». «Хорошо, а что ты будешь делать, Константин, если ты допустишь оплошность, и дама уже успеет сама зажечь спичку?» — «Я возьму спичку из ее рук и поднесу к сигарете». Долгий экзамен прошел как будто успешно. «Но когда вечером, — продолжался рассказ, — я, совершенно лишенный всякой уверенности в подобающей воспитанности, увидел с ужасом, что сидящая рядом дама уже зажгла спичку, я, под взглядом тетушки, уверенно взял спичку из ее рук, и зажег — свою сигарету...»

Так вот, после того, как спичка зажигалась даже не в тот момент, когда я брала сигарету, но когда я бросала взгляд на пачку «Герцоговины», я начинала: «Константин Сергеевич, совместно // Выкуренные сигареты // Наши — не дымом и пеплом // Останутся — но согреты... Он подсказывал, и мы завершали: ...Их огнем и туманом — // Мы останемся». Эта коробка лежала у него на книжном стеллаже и в следующие мои приезды. Или же его экспромт: «Суровый Дант не презирал сонета... // Хоть Танечки

с ним не было при этом». Подобные незатейливые импровизации были окрашены в тона теплой, всегда с улыбкой, обоюдной симпатии.

Но серьезные и пронзительные были его тщательно отделанные и исполненные истинной поэзии сонеты, которые он считал главным своим делом — в них была его подлинная жизнь, жизнь *из глубины*. Прочитанные им, стихи звучали особенным тоном его души с ее строгостью, суровостью и скорбью — и одновременно с трогательной нежностью. Итак: стихи, их жизненные подтексты, воспоминания, постепенно вся его жизнь... жизнь в тупике... Его открытость всем таила за собой столь глубокую боль, что, однажды поняв ее, я содрогнулась, так пронзителен был роман его жизни, сокрытый в стихах и угаданный мною по его желанию.

Были хороши и прогулки по Тбилиси: он любил этот город, особенно его храмы. Казался же атеистом, так полагалось. В первых письмах он так и называл себя — «закоренелым атеистом», потом — скептиком, Фомой. При этом коллекционировал грампластинки с мессами. И в стихах атеистом совсем не был, когда я говорила об этом, то не возражал, а молчал как-то загадочно. Важнее же всего было для меня: не был неверующим в храмах, там он был как у себя, все жесты его говорили о глубоком сродстве с этим миром, и мне виделось здесь корневое, наследственное. Но знал он в себе и следы «советского» — против воли впитанного скепсиса. Они порой явно проявлялись, но и тогда, с самого начала, как писал он, споры наши были — «не споры, а усилия к еще большему взаимопониманию» (письмо от 11.04.88). Позднее разговоры о религии зазвучали не диссонансом, а созвучием. Не случайно последние его годы — это преподавание в Духовной семинарии, Славянский Дом, Дворянское собрание (об этом я знала уже только из редких, переданных с оказией писем).

Замечательны были и беседы втроем: Константин Сергеевич, Натела, я. Чаще же Натела заходила ненадолго, иногда приносила еду и уходила в свой дом, порой заметив небрежно, что ей наши разговоры не интересны. Как бы ни были сложны их отношения (это, кажется, все знали), они были хороши вместе. Нателой можно было залюбоваться и в ее поздние годы, она была очень резкой, очень яркой, очень красивой. Порой они чудесно

рассказывали вдвоем. Как сейчас, до малейших интонаций помню их рассказ о «памятнике Жюль Верну». Он: «Ты не знаешь, Танечка, что в Тбилиси есть памятник Жюль Верну?» Улыбается, я чувствую подвох, жду, Натела улыбается тоже, тогда он продолжает: «Мы шли однажды с Нателой по Тбилиси, она меня спрашивает: кому поставлен этот памятник? А я понятия не имею, ну и говорю — я был молод, не мог же я признаться — Жюль Верну». Она подхватывает, обращаясь ко мне: «Я ему тогда так верила, во всем... Конечно, Жюль Верну! И вот, представьте, Таня! Через несколько лет я показываю Тбилиси своим гостям, говорю, так восторженно, что вот это — памятник Жюль Верну, и как же это чудесно, что в Тбилиси — есть памятник Жюль Верну... Мы подходим ближе, а это памятник... (Я не помню сейчас имени, но — какому-то грузинскому революционеру.) ...Это был такой стыд! Как он мог!» Натела договаривает с таким глубоким возмущением, что, кажется, сейчас будет семейная сцена. Он, перебивая, продолжает: «Ты представляешь, Танечка, как мне вдруг досталось в тот вечер за Жюль Верна?!» Натела смеется, мы тоже смеемся, долго и светло... Так, верно, в Обломовке смеялись — как олимпийские боги. Такого больше не было — никогда.

Я любила этот дом. И люблю по-прежнему: и в раю должен быть уголок, подобный тому тбилисскому дому с книгами. Ведь человеку всегда нужен не только весь мир с его безграничностью, но и то малое пространство взаимопонимания и взаимоприятия, которое называется домом.

Да, много света и тепла подарил этот человек другим. Но в его жизни гораздо больше было — отчаяния. Его мироощущение было трагическим, и коренилось оно не в личной судьбе, по крайней мере не только в ней. Он был одинок в советском мире, невероятно чужд ему, с его безнадежным одичанием (его слова). Эту чуждость духу времени и всему окружающему видел он как наследственную, начиная с прадеда, сосланного на Кавказ. История семьи глубоко в нем жила, с ней было связано много боли. Однажды, когда я предложила, почти всерьез, при наступлении голодных времен всем вместе отправиться в Вологодскую губернию, где еще стоял дом моих предков среди опустевших и зарастающих полей, он отозвался глубоко, поняв мое чувство, и рассказал о своем поместье в Черниговской губернии, где не

был ни разу — не потому, что не пришлось, а по непереносимости осквернения.

Защиту, временную, от мира давала ему ночь: «Еще несколько часов в обезьяннике будет тихо...» — не раз, варьируя, писал он мне, и я мысленно и сейчас слышу этот его тон брезгливого презрения к советской бессмыслице, звучавший и в стихах. Здесь он ощущал именно бездну: совсем не та страна, совсем не то время («Не те моря. Созвездия не те»). И, далее, жизнь — не та. В ней не случилась, попросту оказалась невозможной единственная встреча, по которой он обречен был тосковать всю жизнь. Как будто произошла невероятная ошибка и дух его воплотился в жизнь не ту... А с ней, данной, — надо как-то быть. Он и умел с ней обходиться — всегда через конкретного и отдельного человека находя возможность что-то в ней делать, чем-то заниматься, филологией, например. Однажды я сказала, в его, скептическом, тоне: когда нас сюда выпускали, то не гарантировали... Он тут же поймал меня на слове, неосторожном: «*Выпускали* — как ты это сказала! Да! И при этом на каждого из нас *выпустили* по десять идиотов, чиновников и глупцов». В подобных сарказмах порой проговаривалась его горечь: из-за дикости и трагической бессмыслицы этого мира как будто он всерьез не обрел и иного, смыслоносного, разуверившись в смысле из-за этой как будто бессмысленной ошибки своего — *этого* воплощения. Она отражалась постоянной скорбью, недоумением, сетованиями, обращенными к Творцу, — мир в целом был миром безнадежности, зло в нем было необоримо и бездонно. В его стихах звучали эти три темы: холодный Космос, одичавший мир, одиночество. «Жизнь в тупике...» Тупик Джавахишвили: в одном из последних писем он написал мне, что тупик — переименован, в шестой раз на его памяти, отчего не перестал быть тупиком.

Из него был исход, один — поэзия, Слово, которое всегда писалось им с большой буквы, но которое (у меня хватало бестактности его в этом укорять) он понимал в конечном итоге лишь как Слово поэтическое. За редкими исключениями, когда в стихах рождалась вспышка света, — он старался, оправдываясь, найти для меня именно такие стихи. В поэзии — было средоточие его жизни и ее смысл, в стихах своих и стихах всех иных поэтов, живших ранее и живущих ныне. Так что среди его привязанностей, а таких дружб, как со мной, у него было немало на протяжении

жизни и в тот ее недолгий период, который был открыт мне, — среди его привязанностей, всегда особенных, когда к другому обращены разные грани жизни и души, самым значимым — так я вижу — для него было то, где объединяющим началом были стихи. Его любовь была трагической именно потому, что была закрыта его поэзия, и счастливой (на короткие мгновения), когда встреча была — и в стихах. И я с горечью читаю сейчас строки его письма: «Таня, лучшее, что я слышал от другого человека в этой жизни — это то, что говорила мне ты, и в частности — то, что ты говорила мне о моих стихах» (письмо от 1.09.89). А ведь я сказала так мало! Я не сказала ему, что всю дальнейшую жизнь после него мне будет по-прежнему казаться, что всегда можно взять билет и приехать в Тбилиси. Но меня утешает то, что только и может дать утешение: смутное и странное ощущение его длящегося и открытого в будущее участия в моей жизни.